

ВЛАДИМИР АЛЕЙНИКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
В ВОСЬМИ ТОМАХ

**ТОМ СЕДЬМОЙ**

ПРОЗА



РИПОЛ  
КЛАССИК

Москва, 2017

УДК 82-3  
ББК 84(2Рос=Рус)6-4  
С55

**С55 Собрание сочинений:** в 8 т. — М. : РИПОЛ классик,  
2017.

Т. 7: Алейников В. Д. Проза / В. Д. Алейников. — М. : РИПОЛ  
классик, 2017. — 880 с.

ISBN 978-5-519-62703-0 (Том 7)  
ISBN 978-5-386-09816-2

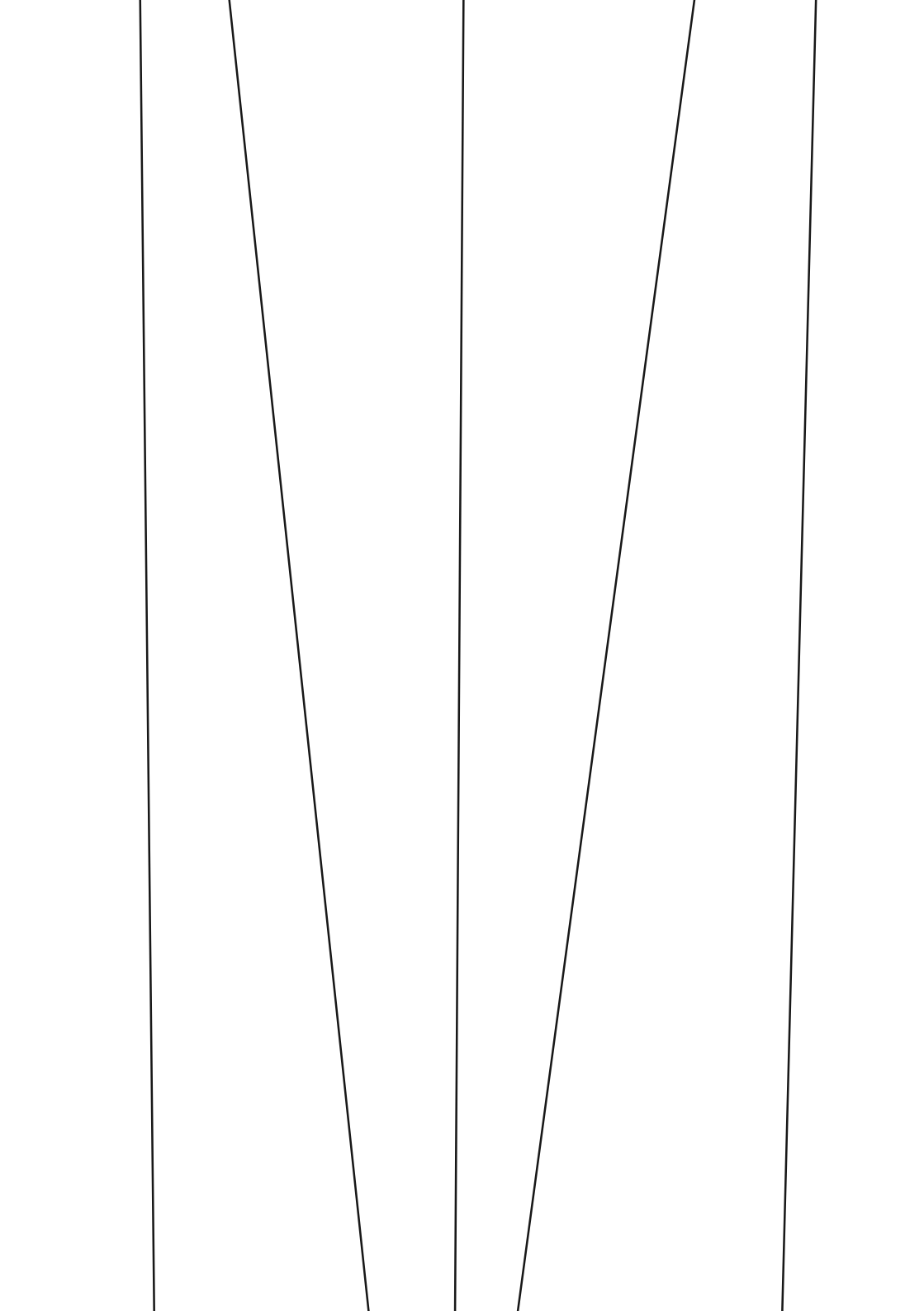
**УДК 82-3**  
**ББК 84(2Рос=Рус)6-4**

ISBN 978-5-519-62703-0 (Том 7)  
ISBN 978-5-386-09816-2

© Алейников, В. Д., 2015  
© ООО Группа Компаний  
«РИПОЛ классик», 2015



**ПИР**



...Сам не знаю — зачем это вспомнилось.

Мы с Довлатовым шли вдвоем по безлюдным предутренним улицам, сквозь осенний, меланхоличный, как и наше с ним состояние, непрерывный, расплеснутый по ветру, шелест желтой и алой листвы, шли устало и молчаливо, неизвестно куда и зачем, но, скорее всего, в пространство, потому что в нем было нечто, нам дающее проблеск надежды, если даже и не на чудо, то, по крайней мере, на скромное, но такое, чтоб нас обрадовать или даже вдруг окрылить, пусть и малое, даже крохотное, но тем более дорогое, настоящее волшебство, шли с трудом, но зато упрямо, вдоль деревьев и мимо храма, шли, не выпив еще ни грамма, словно были за гранью драмы, разыгравшейся в синеве над слоистой мглой, в Москве.

Довлатов приехал ко мне осенью семьдесят второго до того неожиданно, что без всяких лишних слов и никому не нужных объяснений стало мне ясно: порыв этот, искренний и отчаянный, а может быть, даже побег — из Питера, из кошмара, своего, незаемного, давнего, из круга, пусть и не замкнутого, но очерченного жестоко и магического, пожалуй, потому что внутри него все трудней дышалось ему, и душа все чаще болела, и хотелось просто на волю, вдаль, вперед, и куда угодно, лишь бы вырваться поскорее за черту, оказаться в дороге, чей синоним, чье имя другое, и важнейшее, это жизнь, —

порыв этот, повторяю и подчеркиваю, похожий на прорыв к самому себе, и оправдан, и не случаен.

Был Сергей настолько измотан, что я тут же, мгновенно, понял: надо его спасать.

В прежние, сложные годы, с их постоянными вывертами, подвохами, непредсказуемыми событиями и снегом на голову сваливавшимися происшествиями, которые приходилось то и дело расхлебывать, с их реальной опасностью для любого из нас, непохожих на обычных советских людей, с их коварством, подлянкой и злобой, на любом буквально шагу, да еще по причине общих расхождений наших с действительностью, мы, люди тогдашней богемы, испытывавшие все, что положено было нам испытать из несладкого, а порой откровенно губительного, на износ, на излом, на прочность, на авось, на собственной шкуре, слишком ясно осознавали, что такое — спасти человека.

Я поселил его у себя.

Квартира была однокомнатной и находилась на четвертом этаже, — не слишком низко, чтобы снаружи посторонние люди всякие, кагебешники или менты, отчетливо, как на ладони, запросто видеть могли, что происходит внутри, и не очень высоко, чтобы, при надобности, если, допустим, лифт не работает, или еще по какой-нибудь важной причине, быстрым шагом подняться по лестнице и сразу же позвонить условным, известным считаным друзьям, особым звонком, чтобы скорее впустили, или своим ключом, если я выдавал его кому-нибудь, дверь открыть и войти в тесноту прихожей.

Дом был кирпичный, светло-желтого цвета, и стоял на улице Годовикова, но тоже, как и квартира, удобно был расположен — вовсе не на улице, такой, какой принято ее представлять, с густой застройкой, где здание лепится к зданию, а улица тянется вдаль проезжей своей частью, тротуарами и фасадами с монотонными, прямоугольными рядами бес-

численных окон, уходящих в неясную, хрупкую и туманную перспективу, как и вся наша жизнь тогдашняя, как и судьбы наши, и дни, как и творчество наше, неизданное и не выставленное, увы, то есть прямо-таки в никуда, — нет, улица-то была, и адрес почтовый имелся, но улица эта была особенной, непростой, и в нее врвался простор в виде разнообразных деревьев, пустырей, заросших травой, или просто пустот меж строениями, заполненных всклянь, как аквариумы, влажным осенним воздухом, и еще недавно по улице протекала река, но ее спрятали почему-то в трубу, с глаз долой, под землю, поглубже, чтоб не мешала ездить к заводу «Калибр», или, может быть, по приказу городских суровых властей, чтобы меньше в Москве было рек, чтобы чаще грустил человек.

Дом стоял в стороне от шума, от проспекта Мира, но рядом с ним, чуть задвинутый за дома, населенные людом окрестным, и дворы с детворой в песочницах, и недолго было идти пешком до метро, и вокруг было несколько магазинов, и пивнушка, в округе известная, называемая одними «гайкой», видимо, из-за сходства павильона этого с гайкой, а другими всегда называемая только «шайбой», опять из-за сходства с шайбой, так что с названием путаница продолжалась, при мне, годами, а за этой пивнушкой была насыпь с травкою и цветочками, а под ней пролегали рельсы, и ходили по ним поезда.

Было близко до Марьиной Рощи, с деревянными, бревнышко к бревнышку, и окошко к окошку, с геранями, палисадниками и ставнями, закопченными временем, сонными, невысокими, кособокими, обжитыми давно, со скамеечками у дверей, с кривыми калитками и раскидистыми сиренями, переполненными обитателями восхитительными домишками, театрально провинциальными, обособленными, окраинными, позабытыми, позаброшенными до поры, когда их снесут.

Словом, все было рядом, близко, но и осторонь, и не мешало никому из жителей дома, да и нам, ни жить потихоньку, ни

работать, ни выпивать, ни общаться порой с гостями, ни смотреть на мир сквозь окно, сквозь стеклянную грань, за которой было видимо далеко, за которой тянулись в глубь этой осени, этой жизни, а потом уходили в даль, многократно всеми воспеты, все четыре стороны света.

Мы с Довлатовым шли вдвоем, направляясь незнамо куда, чтобы просто идти вперед и дышать отсыревшим воздухом по возможности глубоко, чтобы как-то, пусть и с усилием, хоть с трудом, но прийти в себя.

Приходить в себя — это непросто. Приходить в себя — это не шуточки. Приходить в себя — это наука. Да, наука. Достаточно сложная, чтобы слишком нам понимать, что легко мы теперь не отделаемся и на юморе мы не выедем, и тем более — на терпении, том, которого было вдосталь у любого из нас в былом и которое так срослось и со мной, и с Сергеем, и с каждым человеком, подчеркнуто творческим, да со всею нашей богемой, что казалось оно временами вроде кожи второй, хотя совершенно не защищало от вторжений извне, любых, и, конечно, не было панцирем, потому что любые удары и уколы легко проникали сквозь незримую оболочку, норовя попасть не куда-нибудь, наобум, лишь бы ранить скорее, но поглубже, в самую душу. И душа — страдала тогда. Так и жили — среди страданья, в ожидании состраданья или просто вниманья. В нем пробуждалось и пониманье — вместе с речью, с ее огнем. Но прийти в себя — было трудно. Мы расплескивали энергию безоглядно и широко. Не щадили себя? Наверное. Не наверное, а конечно. Было принято — так. Привыкли. Были просто — самими собой. Уж такими, как есть. Везде. И повсюду. В любое время. И тем более — посреди разгулявшегося бесчасья. Мы выкладывались порой до последнего. Разом. Полностью. Мы вбирали в себя любые проявления нашей жизни — с нескрываемым, жарким азартом. С ясным, гордым полубезумьем — тем, что было куда трезвее и оправ-

данней, чем иная, даже нужная, в общем-то, трезвость, чем привычный чей-то расчет. Жили — с риском. С вызовом даже. Всем. Всему. Ценились — поступки. Признавалась — лишь одаренность. Потому и была — озаренность. Всем, чему объяснения нет. Всем, в чем был — путеводный свет. С ним сроднились давно мы. С ним — каждый, вышней звездой храним, находил в себе силы: вспять — не идти, из бед — воссоставить, рваться — в даль, за которой — высь. Не случайно мы родились в нашей грустной державе. Здесь — каждый вырос. И сбылся — весь. Навсегда. Столь велик был жар пронизавшего всех горения, что потомкам остался — в дар. Не случайно сие даренье.

Перед этим сомнительным утром, если это действительно утро, если так можно было назвать странный, брезжущий, грустный час до прихода реального утра, с пробуждением жизни вокруг, с оживлением крови в жилах, с просветлением ожидаемым непомерно смурного сознания, в течение дня предыдущего, и вечера, вскоре пришедшего, и ночи, за ним наставшей, вплоть до рассвета, или же, что вернее, до убывания и ухода ночной темноты, нами, причем вдвоем, без ненужных нам собутыльников, не годящихся в собеседники, признаюсь я, как на духу, было выпито многовато.

Доказательством очевидным неумеренно долгой, обильной, затянувшейся ненароком нашей выпивки, с разговорами по душам, такими, которые не заменишь нынче ничем, оставались пустые бутылки, грудой сложенные на балконе, меж коробок и чемоданов, чтобы в комнате не мешали, где с укором напоминали о недавнем их содержимом, ставшем грустным воспоминанием о спиртном, которого нету, чтобы с толком опохмелиться и потом уж, слегка воспрянув, как придется, но лучше — с выпивкой и закуской, в умеренных дозах, чтоб себя ощутить живыми, чтоб здоровье свое поправить, с Божьей помощью, разумеется, как-то дальше существовать.

Некоторое количество спиртного, жалкую частицу былой роскоши, по глотку вина, по глотку водки, всего-то, не больше, да и то с изрядным трудом, нацедили мы из выпитых накануне бутылок, смешали в стакане, разделили по-братски, выпили.

Но этого было мало. Настолько мало, что даже говорить об этом смешно. Разве это спасенье? Так, пустячок. А то и курьез. Или даже недоразумение. Или выверт очередной окружающей нас действительности. Той, с которой, как ни крути, приходилось нам всем считаться. Той, с которой то и дело возникали у нас разногласия. Той, советской, заполонившей все вокруг, весь мир законный. Той, с чьей жутью потусторонней наших судеб линии четкие не желали соприкасаться, но, увы, в нее углублялись, чтобы там, в несусветной прорве, в ахинею, в бреду, в развале, вырваться вдруг ненароком к свету правды и красоты. Потому-то и действия наши по упрямому извлечению хоть подобия дозы крохотной столь желаемого питья из бутылок, совсем пустых, были слишком наивными, верно, с этим были мы оба согласны, но за этой наивностью грезилось обещание радости, может быть, и вставала за ними надежда, ну а с нею — легче дышать. Говорить же о том, что эти мини-порции водки с вином, ну всего-то по два глотка символических, нас излечат, было в самом деле смешно. Понимали это мы оба хорошо. Потому и молчали. Ну а думать об этом — грустно. Знает это любой из граждан всей похмельной нашей страны. Так что лучше было — молчать. Два глотка! Чепуха, да и только. Ерунда. Безобразие. Блажь. Так ли? Все же не блажь. Блаженства смутный отсвет где-то поодаль, кем-то свыше соединенный с детской верою в чудеса? Что ж, возможно. Да так и было. Несомненно. Теперь я знаю: было это — именно так. А тогда — тогда мы вздыхали и помалкивали угрюмо. И таилось в угрюмстве этом обещание скорых празднеств и событий, впрямь распрекрасных. Это в душах мы — берегли. На потом. А пока что — с бо-